

## ХУТОР

*Где-то здесь, в лозняковой низинке у ручья, с сильным своим дымным запахом стояла банька по-черному... Тропинка выходила на дорогу обочь к колодцу с журавлем...*

Хутор из детства — словно далекий, туманный, зыбкий мираж, который живет, кажется, только в моей памяти. Живет ликами знаемых мною много лет назад, запахом баньки по-черному у ручья на переходе, улицей с тогдашними, крытыми соломой избами со скрипучими дверьми, лавочками под окнами, деревенскими мальвами в палисадниках... И уйдет он окончательно в небытие вместе со мной. Так устроен мир на этой земле. Отживет травинка свое лето, отрадуется жизни и — на вечный покой. А чтоб не так трагично выглядела действительность, прикроет снежок землю на долгие месяцы — оно потихоньку и забудется...

Андреевка начинается и кончается Избищами. Избище, утверждает этимология, — место, избитое копытами животных до непригодности быть пастбищем. На востоке — селение Избище Семилукского района. От него деревенские подворья тянутся по широкой луговине километров двадцать до другого Избища на западе, завершаясь хутором Афоново в Нижнедевицком районе. Поэтому, где «голова», где «ноги» у этого поселения, понять трудно. Однако кладбище располо-

жено в семилукском Избище. А оно, как правило, всегда в конце села. Там вся Андреевка и покоится. Только если кто случайно где-то приотстал или затерялся, а так — все там.

Несколькими домишками поднимается хутор Афонино из луговины к теперешней просто уже остановочной площадке «Избище», потому что станцию на радость врагам нашим разорили ельцинские «опричники». Разволокли они КАМАЗами рельсы, щебень, оборудование. Ну да Бог с ними, проживем и так, — обнадеживают местные старики.

Луговина дальше раздваивается. Вправо — небольшое пустое селенье в одну улицу — Малиновка, обросшая дубовым лесом, с сорванным прудиком в низинке. При всех валиях без электричества, это местечко, тем не менее, и сегодня остается притягательным местом для дачников. Оба облесенные ответвления луговины рельефно выравниваются, завершаясь полем.

Километров через десять по луговине на восток — центр. Когда-то здесь было правление колхоза «Звезда». В этом колхозе от самого его основания трудился мой дед. Позже — дядя, остальная малознаемая андреевская родня. Еще школа, магазин, местная власть и начало асфальтированной дороги на Курбатово. Мне приходилось бывать в «центре». Почему кавычки? Потому что раньше все жители говорили: не в магазин пошел или в правление — в центр пошел. В сельской администрации местный глава еще помнит моего деда: «А-а-а, он жил на Коммунаре, я еще пацанчиком тогда был...»

Деревня эта ничем не отличалась от других деревень России. Как солдат в окоп, хоронилась она от ветров в складках холмов. Тянулась, располагая жильё как Бог на душу положит: к соседу поближе жались отроду пугливые, а нахрапистые — друг от друга подальше, повольготней, с расчетом на сыновей. В иных местах от избы до избы двести, а то и триста метров! Привольно, сосед соседу не указ, мордоваться за межу из поколения в поколение не надо, спорить, кому, где стог сена скотине на зиму поставит, колодец вырыть — еще чего. Иные же всю жизнь мордуются, но друг от друга — никуда! Парни этого бока брали жен с того, а парни с того шли за ними на этот.

Внутри бывшего храма без креста и колоколов дизель крутил генератор. Грохот мотора, многократно отраженный от стен и устремленный к куполу, резонировал и превращался в вибрирующий визг. По ночам казалось, что звук исходит с небес. В нем моей фантазией переплетались крики ночных птиц, странные плачи и скрежет зубовой.

— Ба, там черти? — спрашивал я, свесив голову с печи.

— Бог с тобой, касатик, что тебе взбрело-то... Ты спи, спи, — шептала бабушка.

## КОРНИ И ОТРОСТКИ

*Все так же куры в подклетьях кладут свои непорочно-белые яйца. Над головой шелестят листья деревьев, на лугу пасутся коровы, где-то лают собаки, и жизнь за окном напоминает прожитую.*

Километрах в двух с небольшим гаком от остановочной площадки, в прошлом, напоминаю, станции, в самой луговине, как я уже говорил, на улице «Молодой коммунар» жил дед мой по матери, Макар Павлович, а бабушкой Мариной Андреевной, в девичестве Карповой. Название улицы произошло от названия колхоза. Их было в Андреевке около десятка. Потом все слили в один под названием «Звезда», а названия бывших колхозов оставили улицам да отдаленным селениям вокруг. Мне захотелось памятью пройти по этим местам, взглядываясь в давно ушедшие облики и лики, переощутить дух моего детства и родного села, лучше понять свои начала и мотивацию своих поступков в жизни.

Вспоминают моего деда местные жители, коих осталось не то что совсем, а очень мало, великим трудягой и выдумщиком. И все из-за экзотики: он использовал корову не только по прямому назначению, но и как лошадь, запрягая ее в маленькую тележку собственной конструкции: сенца подвезти с покоса, еще по какой нужде. До меня трудно доходит даже сейчас, когда я крепко в возрасте, что дед мой во времена моего пацанства был не только дедом, но и мужиком в расцвете мужичьих сил со всеми остальными при этом необходимыми требами. Для меня он уже с момента моего рождения был просто моим дедом.

С рождения я принимал окружающее данностью неизменной. Только потом-потом в сознание мое войдет: у дедушки, оказывается, был отец, и у его отца тоже был отец, и был тоже дедушка, что его дедушка мальчишкой перенял отцовы привычки, круг мужичьих дел и его сноровку. И так из поколения в поколение передавалась и приумножалась опытом наука сеять хлеб, выращивать скот, рубить избы и сажать деревья. То были времена, когда жизнь и ее уклад не менялись веками, жилось людям просто и по-земному уютно. Без противоречий сын сменял отца. Проблем принятия и отрицания жизненного уклада не существовало. Это где-то там, в Москве да Питере, в Англии да Германии, во Франции да Америке, роились и делали большие открытия большие умы. Деревни же там и там жили спокойно и без больших перемен. И мое понимание вещей произошло по мере взросления постепенно.

Перенимать от отца мне пришлось совсем иное. Отец мой отрицал (или делал вид, что отрицает) основу устойчивости жизни на земле — *веру в Творца*, и делал что-то не то... совсем не то. По своей воле или по указке других — ни он сам, ни я так и не узнали. Не узнали мы и механизма подчинения чужой воле. И жизнь его и моя потекла совсем отлично от прежней, дедушкиной, но и дедушка не воспользовался опытом предков. Прежний опыт имел природное происхождение, а природу решили покорять. Для этого нужен был новый опыт, опыт покорения, а прежний опыт сожительства с природой стал не нужен.

Вслед за отцом и своим дедом мой дед так же пахал землю, и пахал бы он ее до конца дней своих... Но как-то не так случилось. Принимал дедушка присягу на верность царю, а большую часть жизни жил при новой власти, которая, как многие до нее и после нее, думала и обещала быть хорошей. И как потом дед не переименовывал, выходило, что он Иуда и клятвоотступник, но тот и другой как бы не по своей воле, а вроде как все.

Родившись в 1895, он дожил до 1990-го, и — поразительно, как! Со слов бабушки, любил дед деревенские гульбища. Трезвым с них никогда не приходил. Домой его приносили мужики упившимся до бесчувствия. Отоспавшись — будто нигде и не был, принимался за дела. Ничего у него никогда не болело, не требовало дополнительных вливаний. Краснощекий, голубоглазый мужик с узкими усами не больше ширины носа по моде того времени. Сам дед, по своей детскости, многого в голову не брал.

Однажды затеялся шутить-бороться с сыновьями, и они сломали ему руку. Наутро за столом стали думать, как быть дальше. Он не жаловался, не страдал, не ругался. Выслушав сыновей, говоривших, что надо в больницу ехать, только и изрек: «Глядите, ребят, как лучше...» Добрейшей души был человек, очень спокойный. Это, видно, родовое, наследственное.

Выпивши, любил поговорить, имея собственные «государственные» суждения. Однажды нашел я его на подворье плачущим. Опершись подбородком на черенок вил, лил он слезы. И вот о чем: скосил сосед купленное у него на корню сено, а потом и отаву, хотя про отаву договора не было. Раскурил я по его просьбе сигарету, но он, так и не сумев «затянуться», выплюнул жвачку. Уже тогда, при его жизни, начинал я понимать, что прожил он жизнь, не выходя из детства. Бабушка рассказывала: когда дело повернуло к колхозам и все стали сбывать имущество, дед мой по дешевке купил

конную косилку, ветряную мельницу, рушку. Тут же из соседей создал объединение — «общество», как он сам, вспоминая, его называл. Но из грязи в князи не получилось, кто был ничем, тот ничем и остался.

...Вечером в сенях загремели дверью. Впотьмах загалдели голоса. Найдя, наконец, на ощупь входную дверь, мужики ввалились растоптанными валенками, драными полушубками, шапками в трухе сена, бородастыми лицами с запахом табака-самосада. Они шурились у порога после темени сеней от света керосиновой лампы. Озираясь по сторонам, виновато прятали глаза от детей за столом под лампой, от распахнутого удивлением взгляда хозяйки, от строгого на непрошенность взора хозяина. Пришли «влястия». Пришел комитет бедноты. Совсем скоро эти комитетские мужики поднагореют в хождениях по чужим дворам, в деле бесцеремонного влезания в чужие жизни и прятать глаз не будут. Смотреть на сельчан будут с открытым презрением, находя свои действия справедливыми и правильными. А пока, еще причастные к Божьей вере, кучкуются они у входа, опасно поглядывая на хозяина. В них, в их душах, была жива еще совесть — ощущение греховности и несправедности затеянного дела, жив был еще и страх испортить жизнь свою безрассудством.

— Доброго вам здоровьичка, — дурашливо потянул распевом член комитета, мужик по подворью «Катях», первый весельчак и кутила деревенский. — А мы вот...

Но даже он не нашелся, как и чем закончить — «пришли в гости» к случаю никак не клеилось. Мужик быстро сник и, несмотря на богатый опыт балагурства и общения, еще не знал, как себя повести дальше. Вошедшие, поворотившись к образам, потянули было по привычке руки к шапкам, но «Вожак» (так за глаза называли председателя), громко крикнув, ожег их взглядом и сдвинул брови. И мужики опустили руки, потому что власть — на Земле вообще и на Руси в частности — понятие особенное, связанное не только с волей Бога, не только с насилием, не только с безусловной правотой меч носящего, но и с проявлением в силу положения властной вседозволенности и жестокости. Даже из мужицкой среды недавно свой в доску мужик, обретая знаки достоинств, резко меняется, возвышаясь над всеми. Вот почему мужикам достаточно было намека Вожака, а Вожаку достаточно было намека над ним стоящих.

За столом восьмеро — мал-мала-меньше — ждали, когда их мама поставит на стол чугунок с картошкой. Они уже представляли: как и когда каждый из них протянет руку за картофелиной, как торжественно очистит ее и макнет в горку соли, как в полной тишине и серьезности будет вкушать дар Божий, памятуя прочтенную отцом молитву. Но перепуганная мама с чугуном в руках застыла у печи. Председатель комитета бедноты громко произнес странное слово «экспроприация» и, взяв у перепуганной матери чугунок с картошкой, передал его Катяху. Катях, свершая освященное властью государственное дело, понес чугунок с чужим ужином домой, переступив сразу несколько заповедей Христовых. Вожак же, молча, провожаемый настороженными взглядами, прошел в «святой угол». Сдернув с гвоздей образа, он кинул их на пол, закрепляя начатое экспроприацией бесповоротно.

Как натаскивают собак на агрессию по отношению к чужаку, так Вожак натаскивал свою ватагу на агрессию по отношению к сельчанам, преступая нравственный закон и Божьи заповеди. Под сапогами звонко лопались стекла, с треском ломалось сухое дерево, но никакая кара на его голову не рушилась. Маленькие заплакали тревожно и откровенно. Их детские головки не вмещали происходящего. Они плакали так, как плачут взрослые во времена великих бедствий и потерь.

А дедову душу пронзила сильная и пронзительная — как железом по стеклу — боль. Он понял, ощутил нутром: теперь себе он не хозяин — ни в вере, ни в Боге, ни в мыслях, ни в делах.

Началась коллективизация. В ней заключалась суть перемен. Она разумела обоб-

ществление скота, орудий труда, земли, слом всей привычной жизни и еще чего-то такого, что невозможно было осмыслить сразу. Но поняли люди главное: если чья-то голова возвысится над толпой, ее отсекут! Потому высокие от рождения виновно гнули головы до уровня толпы.

И дедушка, и бабушка, и их дети после раскулачивания жили в сарае рядом с заколоченной избой. Вожак еще не раз приходил экспроприировать то чугуна, то деревянную поварешку, то что-то из тряпья. Со временем люди «пообыкли» и относились к его набегам так, как их предки к появлению татарских баскаков.

Дедушкина семья в то интересное на события время считалась ячейкой общества, строящего коммунизм, но он об этом не знал. Не потому, что не слышал, а потому, что слова эти были ему не по уму. Он слышал звуки этих слов, встречал их в газетных текстах, но мозг его на них не отзывался. Не знал он и о том, что низшим проявлением свободы является произвол, а высшим — Царство Божье. Что он на белом свете к чему-то ближе, но в тоже время от чего-то дальше.

В колхоз он пошел не коммунизм строить, а за своими лошадьми приглядывать. Так до войны с германцем и проприглядывал. Говоря современным языком, он хорошо инвестировал колхоз за охапку соломы, которую надо было еще спереть — так до сих пор говорят местные о краже. Может, потому при случае упивался он до безобразия. Дожив до горбачевских преобразований, все пытал меня: «А можа, оно как при Столыпине землицу-то нам теперича отдадут?» Но его жизни на российские преобразования не хватило.

Воевал дед, защищая Сталинград, поваром. Там попал в плен, но прежде встретился с братом Павлом. Из плена бежал, пришел домой и сразу устроился разнорабочим на железную дорогу. Коней его в колхозе к тому времени, видно, уже не было. Освоил он на железной дороге новое, хотя для моего понимания странное дело, — чистить колодцы. Даже мне запомнилось обилие казенных домов, как их тогда называли — казарм, через каждые три — пять километров вдоль железнодорожного полотна. В них жили и несли службу железнодорожные обходчики. Возле казарм колодцы. Вот их-то и чистил дед до пенсии.

Рассказывал: однажды мужики уронили в колодец на него бадью. Сочтя, что пришибли мужика и ему конец, присели рядом помянуть душу очередного грешника (почему-то при жизни о грешности вспоминают мало), чтоб потом уж думать, как доставать тело и расхлебывать случившееся. Дед, очапившись, услышал приятное и знакомое для души бульканье, закричал им из колодца, что сначала нужно достать бадью и его, а уж потом разливать...

После его смерти вспоминали железнодорожники, как в споре грузили ему на спину прогон рельса и он нес страшный груз на своих плечах. В глубокой старости мучили его висюли грыж на груди и в паху. Дурь просто так ведь не проходит. Жил он, как мог — с душой простецкой и наивной.

Я плохо помню, но, наверное, по моей просьбе он сделал мне лыжи. Это были две плохо оструганные, заостренные топором доски. Мне они, кажется, так и не послужили. Руки ему Господь пришил грубовато. Или деду не сиделось, и все он делал на скорую руку — тяп-ляп. Сложенная им печь занимала много места и при растопке всегда сильно дымила. Слаженные им сараи снова хилились, двери пели на все голоса и цепляли за землю, везде были подпорки и соломенные затычки.

В нескольких шагах от его двора, в ложбинке, располагался старый, обомшелый, рубленный из осиновых и дубовых плах колодец. Рядом с возвышающимися бревнышками сруба лежал большой камень. На него ставили вынутое из колодца ведро с водой. Ее черпали и доставали из глубины сруба с помощью журавля. Журавель — это

врытый в землю деревянный столб с развилкой-рогатиной вверх. В развилке крепилась на оси жердь. К длинному концу жерди вязали веревку для ведра, на короткий конец вешали груз. Он-то и пособлял поднимать ведро из колодца. А под окнами, в палисаднике дедушкиного дома, росли мальвы — цветы неповторимо-нежных оттенков!

Деревню схоронила политика. Сначала одна власть, потом другая. А может, сроки ей, этой деревне, на земле вышли? Жилья и построек давно нет. Мне же все кажется, что совсем недавно дядя Михаил подкатывал ко двору на «Люсе». Люсей тогда называли дальнего родственника американского автомобиля «Форд», — полуторатонный грузовичок с полудеревянной кабиной, деревянными порогами и бортами. Пока дядя обедал, я крутил руль и оглашенно орал: «Би-би-и-и...»

Бабушка Марина померла в семьдесят пятом. Деду было восемьдесят. Бабушка давно болела, жила с дочерьми. Дед привык жить один. Он держал корову — сам кормил-поил ее, сам доил-цедил, сам ел и делился молоком с государством. Корова ут-ром тянула небольшую двуколку на опушку леса. Там он косил сено, а выпряженная корова паслась. В «обедах» дойка, обед. Потом корова шла дощипывать траву, а дед сгребал и укладывал на двуколку сено. Вечером запряженная корова везла деда и сено домой, чтоб на следующее утро повторить всю благодать жития сначала.

Когда бабушку снесли на погост, дедушка, сложив клешнястые, растоптанные работой руки на костыле, долго стоял у холмика. Потом горестно вздохнул и негромко произнес:

— А видная баба была...

Может, таких простых и искренних слов она ждала от него до конца дней своих. Но в деревне любились, рожали и растили детей, строили по заведенному образцу жилье, пахали землю, выращивали хлеб без высоких слов. Дед в этой деревне родился и вырос, прожил жизнь и помер. Он и помыслить не смел нарушать заведенный порядок...

На досуге дед обычно задушевно беседовал с соседкой через дорогу, родственницей Акарачихой. Акарачиха раскуривала козью ножку — свернутую из газетной бумаги сигарку со свойским табаком-самосадам — так, что щеки в беззубом рту сходились, басовито передавала ему бабьи новости. Больше их передать было некому. Улица катастрофически быстро пустела. Народ «уходил», молодежь в селе не оставалась.

Как-то летом по ошибке залетели в пустующий на подворье улей пчелы. Дед, растопив дымарь, восторженно пособил заблудшим обрести дом. Потом с гудящими под рубахой пчелами, сев рядом со мной на дрова, попросил раскурить сигарету и, пуская дым под рубаху, приговаривал:

— Худая снасть, Шашок, покою не даст.

Утром, несмотря на дедовы старания, пчелы улетели. Он сокрушенно размахивал руками:

— Эх, мать-и-так, не углядел! — вроде как корова в огород зашла.

«Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме». Эту сказку ежедневно повторяло радио, а дедушка, как мог, втолковывал ее глупому телку возле лохани:

— Ты, — говорил он, — больше на сенцо налегай, а молочко мы сдадим государству. Глядишь, и заживем, как радио обещает...

Слова ради слов, кучерявая замысловатость теряли человека, слова теряли смысл, от несбыточности их опускались руки.

К тому времени он позабыл давние обиды обобществления: своих коней, загубленных в колхозе плохим уходом, рушку и конную косилку, просторную избу. Все это

потерял он в одночасье. Семья его маялась в тесноте, голоде и холоде. Но и это не все — дед стал сторонником этой власти, находя ее правление справедливым. Он не заметил, как время сгладило, оптимизировало взаимоотношения людей. Образ государства (государства ли?) как Царствия Небесного был всегда в умах людей необычайно притягателен. И будет притягателен во все времена. Перенести Царствие Небесное на землю в разных формах, в разных местах на земле пытались, но всякий раз не хватало «чуть-чуть». Этим чуть-чуть и было то, чему учит Христос.

Уже когда деду было за девяносто, его забрали дочери к себе доживать. Последний раз мы виделись после моего возвращения гостем из Украины. Живущий в Украине, один из многочисленных сыновей моего деда, Тихон, выгнал там из конфет самогон. Времена были горбачевские — ни продуктов в магазинах, ни сахара, ни самой водки. Передал я деду поклон сыновний и гостинец. Дед покричал тетке, чтоб принесла стакан. Плел и, откушав горилки, убедился, что сыну живется хорошо. В свои девяносто пять дед был в своем уме, мог себя обслуживать. Только бесконечно сокрушался по своему жилью, своей корове, которую лет пять назад сдали на мясокомбинат. «Взыграло конфетное пойло, вот и понесло деда», — подумал я тогда. И только спустя годы понял его правоту. Укоротили тетки мои, его дочери, ему жизнь своей любовью — вырвали мужика с корнем из привычной среды обитания, подсадили поближе к печке, да к ведру пахучему, и завял мужик.

— Расскажи, — попросил я тогда, — дедушк, о своем солдатстве.

— А что об нем рассказывать-то. Призвали в четырнадцатом году. Служил в Москве. Присягу давал царю-батюшке верой и правдой ему служить. «И когда дед присягал царю, — отвлекло меня размышление под дедов неспешный рассказ, — почва для перемен уже была взрыхлена и удобрена. Уже созрел дикий бунт, лишенный всякого смысла. Но преобразователи радели о некоем благе, называя его общим...»

— Как привезли, — стали вновь доходить до меня слова деда, — как переодели, стал думать о службе. Понравилось мне, как трубач на трубе трубит. Подхожу к унтеру — так, мол, и так, хочу на трубе трубить. Чего надоть-то? Сговорились. Как свечерело, отдал я припасенную водку унтеру. Смешной был унтер, — дед хохотнул, склонив голову набок. — Как честь, бывалыча, отдает, ножкой бьет и рукой по заднему месту себя хлопает. Пошли мы с ним в овраг. Раза три, лебо, ходили. Выучился я побудку играть, еще чего... и — трубачом служба пошла.

Рассказывая, дед прихлебывал как чай из граненого стакана конфетный самогон — подарок-гостинец от сына.

Я ни разу не слышал от него ни ругани, ни грубости, ни иных богопротивных слов. К концу лета он захандрил-занедужил, перестал принимать пищу, убрались висюли гръб, обрелось лицо. Так смерть, не спеша, вынимала из тела его светлую настояще русскую душу. Осенью Макара Павловича схоронили.

Умер дедушка, когда эти, думая, как те до них, зная, как те, что и как лучше для народа, сменили флаг и герб. С новой силой зазвучали догматы «старой веры», разрушающие начала Царствия Небесного внутри слабого: купи и продай. Загаенный дух корысти, пришедший на смену наивным, хаотично надерганным из Книги книг постулатам, прикрытый именем свободы, покажет себя невиданным разграблением одного из самых богатых государств мира. Пошлость толпы, ее дух грабежа быстро разложил нравственность: философию, религию (да, да!), литературу... Успокоив свою буржуазную совесть приобщением к духу черни, великие отказались от величия. Будущность человеческого духа сегодня под сомнением — *Главное* подменили суетным, повседневым. Хотя Россия и так из века в век приносит себя в жертву завтрашнему дню, забывая о том, что жить надо сегодня. И дедушка жил готовностью начать жить сегодня, но не выходило. Потому и прожил он жизнь свою не «набело», а «начерно».

Возле отца из восьмерых его детей остался на всю жизнь в Андреевке один Михаил, которого я, не знаю почему, называл Крестным. Крестный жил неподалеку еще в одном ответвлении луговины. Хату с садом на склоне помог ему купить отец. Михаил был башковитый, и когда пацаном поступил в Воронежский железнодорожный техникум, отец поимел на сына большие надежды — половина деревни работала в колхозе, половина на железной дороге, но колхозники железнодорожникам завидовали. Однако эти надежды не сбылись. Михаил приглядел в соседнем селе Князеве Марию. Ему стало не до учебы, и осел он, выучившись на шофера, в родной деревне плодить потомство.

Мужик он был крупный, ширококостный и сильный в отца. Подтягивая песни на вечеринках, густо басил, а в сильном подпитии, топчась неуклюже, пытался плясать. Свет меня Господь с Крестным после смерти его жены Марии как-то в вагоне поезда. Дядя Михаил не охал, не ахал, а шутил, называя жизнь досужей штукой.

— Поди, тяжело в деревне одному-то. Невестенку еще не присмотрел?

— Моя невеста давно уже ждет меня *там*, — махнул он неопределенно рукой...

Вскоре, после нашей встречи, ушел Михаил к невесте своей *туда*.

Крестный запомнился мне своим особым говором — андреевским. Об этом говоре отдельно бы поговорить — да что я знаю, кроме эмоционального. Говор этот еще называли гончарихинским, а саму Андреевку часто кликали Гончарихой. Видно, в каком-то из ответвлений протяженной на много километров луговины были и есть близко залежи гончарной глины. Или из-за ручья-речушки Гончарки. Вот вам и свои гончары, и свои кувшины из глины, имевшие спрос, говорят, даже в Индии, и незабытое название села в прошлом.

Дедушкин отец, Павел Семенович, умер в тридцать седьмом, пряча в погреб от Вожака мешок зерна. Он ничего не знал о различии и превентивности государственного права над личностным правом. Прорвалась, как тогда говорили, «грись». Старушки пошпентались, похныкали, повздыхали у гроба, каждая думая о своем, помочили платки слезами.

Деревенская плакальщица затянула было привычное: «Ох, ды на кого ж ты нас...», — поворотив души присутствующих к небесам, отчего аж мороз ударил по коже, но на нее зашикали, прожгли взглядами «из-под тишка», и она смолкла, испуганно озираясь. Люди привыкали понимать взгляд, не пользуясь словом. Жизненные перемены происходили так стремительно, что физиологически человека на осмысление не хватало, и он под воздействием защитной реакции выпадал из действительности, продолжая существовать в прежних понятиях. Пугало незнание: как новые «власть» отнесутся к плачу по покойному, и исходя из того, что покойному уже не помочь, а им еще жить, решили хоронить молча. Слава Богу, покойничек пожил, и хорошо пожил, дай Бог каждому! Мужики просунули под гроб полотенца и снесли покойного на погост, а дедушка с семьей осел в родительской избе. Как говорили и говорят даже теперь о вернувшихся в родные места: сел на корень. Потом-потом прилетел вражий самолет с крестами на крыльях и сбросил одну-единственную бомбу. Вместо заколоченной избы деда долго потом зияла пасть воронки, обросшая разнотравьем.

Война затребовала, — как и многих мужиков этой деревни: правых и неправых, судей и судимых, — Вожака на фронт. Перед войной организовал он снятие церковных колоколов. Погиб, говорила казенная бумага, смертью храбрых в первом же бою. Но известие о гибели не вызвало даже христианского сочувствия и сожаления. Никто в деревне не нашел в его гибели трагизма. «Бог прибрал за грехи», — единодушно порешила деревня. «Каждое преступление мстит за себя на земле», — сказал в свое время великий Гете.



Мой прапрапрадед Семен Стефанович, отец моего прадеда Павла, имел шесть детей, и каждый оставил в народе о себе памятное. Кирилл зарубил топором покушавшегося на честь жены односельчанина — старики даже сейчас передают байки о красоте необыкновенной женщины. Отсидел за это два года. Иван был известным хлебопеком, и только ему доверяла деревня выпечку куличей на Пасху да пирогов на праздник. Федор был славен тем, что многодетен, Трофим и Андрей погибли на войне. Прадед Павел тоже не оплошал — кроме моего деда Макара, его дети: Егор — в 1944 погиб на фронте в поездной аварии; Павел Павлович проехал по фронтам на своей полutorке от Сталинграда, после упомянутой встречи с братом Макаром, до Берлина; Варвара жила в Андреевке; Марина — в Малиновке с поэтичным Егором Андреевичем. Их сына Ромку и сегодня деревня помнит как безвинно убиенного. Наткнулся я как-то на узелок с поздравительными открытками. Егором Андреевичем написанные тексты были особенны — отличались витиеватым узорочьем предложений, фантазией и почерком; Анна вышла замуж за Чикова Илью Леонтьевича. Запомнил его потому, что любил он с моим отцом попеть на два голоса русские и украинские народные песни, поговорить о житье-бытье. Дети Ильи Леонтьевича и Анны Павловны живут теперь в селе Стрелица. Но о многих из них ничего не знаю. Жизнь наша так устроена: пока были живы те, кто о них что-то знал, мне было не до этого.

Теперь же воспоминания все чаще и чаще приходят ко мне долгими ночами, когда тишина жилья сгущается до звона. А во тьме, там — во тьме за окном — тяжело возится ветер. И каждый звук отчетлив и обнажен. Они приходят. Они непрошено врываются в сознание прожитым. Они обостряют сожаление о безвозвратно ушедшем. Они напоминают о греховном болю души. Они приходят радостью повтора счастливых минут. Желание же кому-то рассказать похоже на сохранение памяти об унесенном вечностью, об ушедшем...

Сам Семен Стефанович посадил сад, который позже назовут Акарачихиным. Сын его, Трофим Семенович, сад унаследовал. В жены, как это было принято, взял местную Татьяну, по случайности тоже Семеновну. В таких деревнях распространено поветрие на имена. То Семены, то Василии, то Митрофаны. Сегодня в остатках деревни все больше Василии из сороковых и начала пятидесятых, и все почти Митрофанычи.

Татьяна Семеновна с войны Трофима ждала всю жизнь. Как и большинство солдатских вдов, много курила. Народ дал ей подворную кличку Акарачиха. Я кушал яблоки из Акарачихина сада, посаженного Семеном Стефановичем.

## КАРПОВЫ

*Тетка вела меня от дома к дому, стучала в двери и окна: «К нам наш приехал, соберайтесь у отца... к нам с родины приехали... к нам...» Я и сейчас не могу вспоминать это без волнения.*

Бабушку все, и я тоже, звали Маришей. Ее настоящее имя Марина узнал взрослым, войдя, как говорят, в ум. На бабушку конституцией тела и чертами лица похожи моя дочь и внучка. Она не знала букв и не умела читать, но хорошо шила, обшивая нас и деревню.

Ее брата Семена Андреевича во времена коллективизации тоже раскулачили. Местная сельская гольтепа сочла его богатым и, пользуясь, случаем, вытряхнула мужика с семьей детьми на улицу, ограбив дочиста. Семен Андреевич быстро сообразил про холодные края и, пока местные опричники не одумались, исчез вместе с женой Ириной и детьми.

Говорят, когда жена Семена Андреевича проходила по деревенской улице, мужи-

ки, глядя ей вслед, шеи выворачивали. Беленов Агап, двоюродный брат Семена, открыто грозился то ли в шутку, то ли всерьез отбить у него жену. Каштановые косы Ирины вызвали подозрение у комбедовцев во время обыска. Они предположили, что в них спрятано золото и вознамерились углубить обыск. Решительный взгляд Семена Андреевича, а главное, топор в его руках заставили комбедовцев отказаться от своих намерений. Где-то в начале пятидесятых в Андреевку пришло от них письмо аж из Киргизии...

Я ездил туда в семьдесят шестом посмотреть. Село Аларча, куда с вокзала подвез меня троллейбус, оказалось почти в центре... тогдашней столицы Киргизии города Фрунзе.

Первый дом — тетки Полины. Она меня, как и я ее, увидела впервые и, наверно, поэтому долго разглядывала, ища знакомые черты. Потом вдруг как-то разом засуетилась, несмотря на ночь за окном: «Пойдем скорее к нашим, вот радости-то всем будет!» «Наших» оказалась целая улица. Тетка вела меня от дома к дому, стучала в двери и окна: «К нам родные приехали, собирайтесь у отца... к нам с Родины приехали... к нам...» Я и сейчас не могу вспоминать это без волнения.

Во дворе, у небольшого, но аккуратного дома под осенней яблоней, мы поджидали остальных. При свете лампочки над входной дверью разглядывал я подметенный двор, аккуратно расставленные грабли и разнокалиберные лопаты под небольшим навесиком, собачью будку в дальнем углу двора с высокой двухскатной крышей и резным балкончиком над лазом-входом, столик со скамьей у забора...

Полина Семеновна тем временем нашептывала: «Папа наш в Первую мировую войну попал в плен к немцам. Оттуда привез привычку вставать и ложиться в одно время, пить кофе по утрам, жить строго по часам... — Видимо, способствовали тому большие карманные часы со среднее блюдо, которые я успел разглядеть в его руке при появлении. — Там же освоил столярное дело. Вся мебель в его доме и в наших домах сделана его руками...» — горделиво закончила тетка Полина, из чего я сделал вывод о глубочайшем почтении к родителю.

Прихожая, она же гостиная, она же кухня и зал с большим столом, диваном и резным кухонным шкафчиком на стене...

Только теперь и именно тут я понял причину раскулачивания Семена Андреевича афонинскими мужиками. Такой роскоши, как в его избе в Афонино, сотворенной его умелыми руками, мужики нигде и никогда не видели. Я потянулся было к газетам на журнальном столике. Полина Семеновна опять же шепотом предупредила: «У папы в одной стопке читанные газеты, в другой — нет. Посмотришь, сложи все на место».

Собравшиеся родственники — молодежь и солидные тети и дяди — с любопытством меня разглядывали так, будто во мне и через меня могли увидеть то, о чем неоднократно и много слышали здесь, среди чужого по духу и вере народа. Многие из женской части этого большого некогда семейства Карповых избрали родом деятельности педагогику. Кто-то дослужился аж до министерства образования в Москве.

Ждал расспросов. Семена Андреевича более всего интересовали поля, дороги и оставшиеся вокруг Андреевки села. Вспомнил, где, за какими лесами были его посе-вы, что он сеял там, а что там, где какие были балочки и неудобь, где и куда ведут дороги, какие уже давно должны быть заасфальтированы, по его мнению. У него от этих воспоминаний так загорались глаза, что передо мной невольно распахивался тогда тот живой крестьянский мир, который мы потеряли, распахивалась та хлеборобская душа с трагедией ее отрыва от родных мест, от унаследованного дела предков.

Пожил Семен Андреевич хорошо. Примером всей своей жизни показал он своим потомкам, что значит держать собственную судьбу в узде. Потрудился и повидал много, дотянув почти до ста лет. Одна печаль: схоронен на чужбине где-то в девяносто пятом. От него я узнал, что его и бабушкин отец, Андрей Игнатьевич, тоже был рас-

кулачен, что умер в тридцать третьем году, после Троицы, от голода. Ближайшей родней Карповых по бабушке остались в Афонино дети Никанора Антоновича, сына бабушкиного двоюродного брата Антона Игнатьевича, по подворью Зота. Жил он, говорят, за высоким забором подворья, а как — один Бог ведает.

Все думаю: не очень ли долго пришлось ждать вам, дорогие близкие и дальние родственники, когда появлюсь на свет Божий я, когда выведу вас из небытия забвения хотя бы вот так, дав возможность прозвучать вашим именам. Ведь передают же бабушке в церкви бумажку с упоминанием только имен. Считается, этого достаточно. Господь точно знает и отличает, о ком идет речь. Слово, как материальное продолжение мысли, имеет и передает конкретный образ от передающего через посредника в храме послание Богу. И не потревожил ли я вас своим вмешательством в ваш вечный покой?

## ПОМНИТСЯ

*Но время размывает и эту границу, подводит к краю бытия земного. И тогда во всю мощь звучит в теле человека музыка бездны. Нет матери, нет отца... и люди, усомнившиеся в Божьем, остаются на земле без присмотра. Чур меня, чур — ограждает человек душу свою от напастей.*

Лет пять мне было, когда тетка Рая взяла меня с собой в Андреевку «папашку» попроведать — дедушку Макара, значит. Рано утром с зевками и утренней дрожью вошли в вагон. Освещался он несколькими керосиновыми фонарями над дверными проходами. В его многочисленных углах таилась тьма, сильно пахло «курным» углем. Не прохладно, а холодно в вагоне было до «сучьей дрожи». Станция Нижнедевицк, откуда мы отправлялись в гости, была и есть крайняя граничная точка Воронежской области на западе. Видно, здесь вагоны ночью отстаивались. Но и, как ни крути, это место моего рождения.

— Чур-чур, не я, — звучит памятью детства, звучит далеким эхом русское языческое божество границ. Оно навсегда засело в языковой и генной памяти. Чур! — и замри. Ты огорожен, ты — вне. Как бы ни хотели тебя тронуть — не могут.

Все это звучит из детских игр...

И будто от рождения охраняет, оберегает тебя это место твоего рождения со своими оврагами, перелесками, полями, домами, лицами родных и соседей, своим небом и солнцем... О, если б можно было провести границу вокруг души, спасти ее от греха! Это граница твоей родины. В минуту торжества, в минуту печали добавляется к слову «родина» высокое слово «мать», и вместе они обретают мощь и широкое звучание.

Чур — и прапрабабушки, прапрадедушки, знакомые и неизвестные, светлыми тенями уже скользят меж деревьев, слышатся во вздохах высоких трав, в шуме ветра, видятся в плясе огня, книжками на полках, живы в преданиях...

— Когда тебе приспичило появиться на свет, — говорил дедушка, — темень стояла — глаз коли. Как во времена потопа, лил дождь и на дороге — ноги не вытащить! Запряг я тогда с «общественного двора» кобыленку и повез. Мамка твоя охает, телега визжит, лошадь не везет... Так было дело! — задумчиво поглаживая мои вихры, вспоминал дед.

— Чур! — бабушки, дедушки пылинки сдувают, упасть не дают, души не чают: балуют игрушкой, сладостями, полны умиления и радости. Эта граница падет первой, успев смутно задержаться в памяти. И только потом, в зрелости, осмыслится глубоко и с грустью — так на земле чередуются поколения.

— Чур! — остается последняя засечная черта: отец и мать...

Слово «мама» соткано из звуков, впервые произносимых еще ничего не понимающим младенцем. Проснувшись в своей люльке, он судорожно вытаскивает ручки из пеленок, колотит сжатыми кулачками воздух, морщит личико и закрытым ротином тянет: м-м-м. А потом, разомкнув губки и пуская пузыри голода: а-а-а! На зов, на крик малыша спешит она. Губки слепо ищут заветное и, найдя, с причмокиванием, вздохами облегчения тянут, тянут соки жизни — материнское молоко. Она клонит к нему голову и тихой улыбкой излучает радость, бесконечную радость материнства. Ребенок, не выпуская соску, устало засыпает. Он ощущает толчки ее сердца, ее дыхание: она тут, она рядом, и причина для беспокойства нет. Малыш судорожно втягивает в себя воздух, успокаиваясь от своих еще не осмысленных переживаний и страхов, чмокает уже во сне губками. Ее тихий ласковый голос убаюкивания услышится потом в шуме ветра, в шорохе листвы и, спустя много-много лет, будет опьяняюще кружить голову воспоминанием: где и когда слышалось это?

От матери и отца берешь начало жизни. От них все, чем располагаешь на земле: черты лица, походка, цвет волос, цвет глаз, голос, интонация, говор, наклонности и привычки. От них на всю жизнь! Но время размывает и эту границу, подводит к краю бытия земного. И тогда во всю мощь звучит в теле человека *музыка бездны*. Нет матери, нет отца... и люди, усомнившиеся в Божьем, остаются на земле без присмотра. Чур меня, чур — ограждает человек душу свою от напастей.

На склоне лет моя мама, как и все, наверное, мамы, долгими вечерами рассказывала мне о прожитом. Рассказы ее имели свое особое значение, значение прожитости: бесконечно светлые детские хлопоты, тряпичная кукла, дорога в школу, война, работа... — вариант раз и навсегда. Это ее, а точнее, это их неповторимое ощущение земной жизни. Оно ушло с Ней и с Ними, чтоб никогда уже не повториться. А слова о коммунизме, с которыми успели пожить несколько поколений, а миллионы успели отдать за них жизнь — позабыты. Был ли в этом прок и смысл?

Ведь уроки чужой жизни не впрок. Это частности уже совсем иной жизни. Они не могут научить потому, что даже похожее проживается всякий раз по-своему. Они только напоминают события — как вариант.

...В Избище вокзала я не увидел. Просто стоял длинный приземистый железнодорожный вагон без колес с множеством надписей у лючков и решеток на немецком языке. Из трубы на крыше клубами вываливался дым, растекаясь в чахлой растительности за «вокзалом». Так же, как и в вагоне поезда, на улице сильно пахло курным углем. Через поле по «косовой» тропке пошли к деду.

Невозможно привыкнуть к неоглядному простору зимнего поля. Восторг и трепет охватывают человека при виде бесконечного снежного блеска равнины — под солнцем ли, под таинственной луной ли, когда ночной морозец бодрит, а голоса и скрип снега под обувью редких путников разносятся далеко окрест...

Я и до этой поездки неоднократно гостил у бабушки с дедушкой. И на печи у них спал. Дедушка тогда поднимался «ни свет, ни заря», — так говорила бабушка. Шарил на столе «серники», шурился коробком. Спичка, прошипев серой, загоралась, и из тьмы проступала его фигура. Большие мохнатые тени жутко вползали на стены. Проступал большой стол под керосиновой лампой. В углу над лавкой отсвечивали стеклом и сусальным золотом образа. Резкий запах серы растекался по избе.

Я тогда с трудом понимал, что дедушка — мамин папа, что бабушка — мамин мама. И дедушка, и бабушка, и мама, и папа мне виделись так, будто они не рождались, а такими были и будут всегда. Мироустройство казалось простым и понятным: с ограниченной территорией, с ограниченным кругом лиц. Значительно позже, прочтя горы книг, понял, что жизнь отца, жизнь матери, жизнь дедушки — это и есть мое. Это я своим рождением обязался в себе нести жизнь отца, а отец нес в

себе жизнь своего отца... Это и есть *мои* нашего рода. Потеря моего и моих страшнее смерти, потому что от них и у них взял я себя взаимы, и долг мой вечен и неплатен.

Дедушка, с горящей спичкой в руке, снимал с лампы «пузырь». Подоженный фитиль выбрасывал длинный коптящий язык пламени. Дедушка прилаживал «пузырь» на место. Пламя выравнивалось, наполняя жилье запахом керосина и желтого света. В углу возле лохани поднимался телок. Повернув голову к свету, он, пережевывая свою жвачку, долго смотрел огромными глазницами на лампу. На пол шуршала струя. Дедушка, подхватив посудину, ладил ее поймать.

После событий коллективизации дедушка при случае упивался деревенской сивухой до бесчувствия. И никогда не молился. Мама с папой тоже не молились и икон, в отличие от дедушки, в доме не держали, поэтому я так и не узнал, что такое вера, что такое молитва. И это, несомненно, было волей Божьей. Наверное, обращение к Богу в этих условиях было бы кощунственным.

Дедушка у раскрытого зева печки ломает через колено прутья хвороста. Сухие хворостины звонко щелкают, сырые гнутся. Он заталкивает хворост в топку печи и, подложив бумажку, поджигает. С треском ворчит огонь. Телок, не переставая жевать, переводит взгляд с лампы на дверку печи. Провибавшись сквозь щели, отсветы пламени пляшут на стене и в глазах животного.

Дедушка сдвигает на плите кружки и бросает на огонь куски кизяка. Ключья едкого дыма, приглушая свет лампы, стелятся на полу и поднимаются к потолку. Зябко и неуютно на печи. Я кутаюсь с головой и засыпаю...

Возвратившись, мы ожидали в этом вагоне-приспособе под вокзал поезд. На лавках у стен сидели люди. Много людей. Пламя из железной печки через плохо прикрытую дверку косо высвечивало сомлевшую женщину на лавке с ребенком на руках, большую потемневшую от старости корзину с вещами рядом. В вагоне жарко натоплено и сильно накурено. Свет от керосиновой лампы на стене едва пробивал синеватую пелену махорочного дыма. Мужик из дальнего темного угла басисто «гнал» байку: «Заходит, раскудрит-твою-железо, в наш вокзал царь наш Петр со свитой. Проездом на Воронеж тут оказался, и удивляется, раскудрит-твою-железо: ну и избища у вас тут! Так вот с тех пор, раскудрит-твою-железо, название станции и пошло».

Избища — был один из глухих железнодорожных полустанков. Мимо днем и ночью шли поезда. Иногда поезд останавливался и, громко закачивая воду паровым насосом в котел, ждал встречный. Дядька в форменной фуражке шел вдоль состава с молоточком на длинной ручке — где-то постукивал, куда-то заглядывал. Проходил встречный поезд. Далеко-далеко высокий семафор поднимал «руку». Ревел гудок. Паровоз окутывался паром. Выбрасывая в небо столб смеси дыма и пара, состав уходил за семафор. Я никогда не был за семафором, а поезда шли и шли за семафор. Однажды, когда очередной состав остановился в ожидании встречного, я решил уехать туда, за семафор.

Снял меня с тормозной площадки дядька в фуражке с красным верхом.

— Ты куда ж это собрался? — спросил дядька.

— За семафор, — ответила, показывая рукой на семафор.

— За семафором переезд, но поезда там не останавливаются, — сказал дядька в фуражке с красным верхом.

Так закончилось мое первое путешествие к недостижаемому и потому загадочному, и потому необыкновенно притягательному. Именно оно, непережитое, держит человека на земле, определяет цели и мотивы порой самых загадочных поступков, одухотворяет и обожествляет мир и мироустройство. Здесь берут свое начало сказки и необыкновенные музыкальные мелодии, высокие стихотворные строки. Горе тому,

кого не снимут с поезда, и он доедет до переезда и увидит — нет тут ничего из того, что приходило фантазиями, не давало спать, увидит те же стальные рельсы и привычную обыденностью даль.

Стану я иногда вот так возле железнодорожного полотна, посмотрю в одну сторону на убегающую блестящую сталь рельсов, в другую, и понесет меня то в недавнее прошлое, то в далекое...

На запад железной дорогой через Курск можно добраться до «матери городов русских» — Киева, на восток через Воронеж — до Москвы. На сохранившихся постройках в Воронеже и на станции Нижнедевицк видны еще металлические пластинки с датой — 1895 год. Наверняка и в других местах железнодорожной ветки есть казенные старинные строения. Постройки эти больше порушены или заброшены. Дата — год завершения строительства ЮВЖД. Дирижировал процессом строительства дороги незаслуженно запамätованный Сергей Витте. Это он, без связей, с одним голым дворянством, благодаря только своей светлой головушке, поднялся при царе Александре Третьем до директора департамента железных дорог в Министерстве финансов, предварительно пройдя железнодорожную науку от проводника, кассира, стрелочника, станционного дежурного, помощника машиниста в Германии до начальника движения Одесской железной дороги при Александре Втором. Наверно, и вот тут постоял он, наблюдая за работой рабочих — все может быть...

Вправо полотно дороги сильно поднято, а место в несколько километров названо жителями Выемкой. Прикрою глаза и вижу мужиков, везущих землю в тачках, мастеровых и начальство вижу. На подъем полотна нанимались андреевские, ореховские, ольшанские и лесополянские мужики. Они взвозили по дощатым настилам землю в тачках наверх. Там высыпали. Родилось и навсегда осталось название — насыпь. «За насыпью Круглый лес, — говорят, — а за Выемкой земляники видимо-невидимо!..» Но эта часть железнодорожного полотна была пущена в эксплуатацию в середине тридцатых при Советской власти, а до этого дорога проходила где-то на километр южнее, у расположившегося в ложбине села Мисеевка. Вокзал же был построен в самом начале тридцатых. Видно, проектирование переноса полотна севернее вызвано очень глубокими впадинами с крутыми откосами у самого полотна.

Многие мисеевские пацаны были моими одноклассниками. Колоритного мисеевского учителя начальных классов Сабынина Николая Ивановича до сих пор помнят приезжающие в заброшенное село местные. Вспоминают: был учитель Николай Иванович и председателем местного народного суда. После обсуждения недостойного поведения сельчанина, зачитав решение суда, поднимал он здоровой рукой и ронял на стол отсохшую после ранения на фронте другую конечность, добавляя: «Решение окончательное, обжалованию не подлежит!»

Радует и поднимает дух наличия мощи и таланта таких людей на Руси! Вот Иван Беленов — дедов односельчанин — становится за дирижерский пульт, вот царь Александр Третий в качестве ответа на каверзный вопрос австрийского посла завязал узлом и бросил на тарелку стальную вилку, вот дед мой после Сталинграда бежит из немецкого плена, вот Столыпин организовал переселение крестьян в Сибирь, открыв крестьянский банк, вот дед Семен бежит в Киргизию, чтоб не попасть в холодные края, вот Витте в очередной раз спасает Россию — Портсмутским миром заканчивает войну с Японией...

Это недавнее прошлое так звучит в моей памяти...

Выхожу я теперь из своего дачного домика на простор за железнодорожную лесополосу и гляжу окрест. По дальним холмам зелень леса, высокое — то голубое и солнечное, то серое и хмурое — небо над полями. Через ближнее поле в луговину протоп-

танная когда-то от станции «косовая» дорожка, давно запахана и никто там больше не ходит.

Когда-то, в той жизни и той реальности, тропка ручейком сбегала от полустанка. Вела она через поле, через шелест на ветру то кукурузы, то подсолнечника, то пшеницы. По таинственным поворотам она сказочным клубочком разматывалась под ногами идущего и неожиданно вливалась в деревенскую улицу домов, крыш, окон, печных труб, крылечек, лавочек, сараев, колодцев. Отовсюду плыли запахи! На всю оставшуюся жизнь сохраняются они во мне памятно ароматом жженого кизяка, печеного хлеба, молока. Гомон детворы мешался с коровьим ревом, козым бляеньем, вхоптаньем кур, которые бочком зарывались в пыль на дороге. Потреханные приближающимися шагами, они очумело схватывались с места и, бестолково хлопая крыльями, неслись к своим дворам. Разморенные солнцем в траве блаженствовали псы. На звук шагов они поднимали морды и после ленивого «гав» в изнеможении опускали носы в траву...

...Нет дедова дома внизу, нет и колодца. И дома Акарачихи напротив нет. И всего-то на улице за дедовым помещьем один дом жилой. Коля в нем живет. Молодым уехал на Север рыбу ловить. Да так заловился, что и жениться не успел. А теперь, говорит, не к чему. Дальше, через большой разрыв, дом Василия Константиновича, еще на этой стороне дом, теперь уже покойного, Ивана-Гвоздя.

Цел пустой дом с надворными постройками покойного дяди Михаила. Растет на этой улице бурьян выше роста человеческого. Изредка наведываются сюда некогда местные жители. Бывает, кто-то матюкнется в адрес разорителей России «Мишки да Бориса». А большей частью постоят здесь молча и угрюмо, как на похоронах, и быстро уезжают... В безветрии тишина здесь стоит до звона.

А я стою на перекрестке трех дорог, любуюсь раскинувшимися далями и в одном нахожу для себя утешение: вижу я все это глазами отца и матери, глазами дедушек моих и бабушек. Не потерять бы только мое, думаю! Ведь через мою память и их жизнь продолжается.

Кстати: в 1859 году в Избище было 365 дворов, в которых проживало 3450 человек.

В 1900 году в селе стало 5292 жителя, 869 дворов, 1 общественное здание, 2 школы, водяная мельница, 2 зернорушки, маслобойный завод, 6 мелочных, 2 винные лавки, 2 ярмарки.

В 2007 году численность населения села Избище составляла 152 человека. На сегодня, хорошо, если осталось человек 50.